*1612 и 1812 годы как ключевые этапы в формировании национального исторического сознания: Сб. науч. трудов [Всероссийского] Круглого стола, 21 ноября 2012 г. СПб.: Президентская библиотека, 2013. С. 156–168.*

Ю. К. Руденко

Отечественная война 1812 года
и философско-историческая концепция
Л. Н. Толстого

Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир», один только текст которой создавался на протяжении шести лет (1863-1869) и которая претерпела за это время, по крайней мере, три существенные трансформации своей художественной (прежде всего жанровой) структуры, являет собой наглядный образец произведений искусства, названных в свое время Ап. Григорьевым «рожденными» (в противоположность «деланным»)[[1]](#footnote-1). Мучаясь тем, что ему ‒‒ автору ‒‒ никак не удается понять, в какие жанровые рамки уклоняет его тот творческий замысел, которым он захвачен (было ясно только, что будущее произведение не может быть «романом» в традиционном смысле этого слова)[[2]](#footnote-2), Толстой остановился в конце концов на внежанровом определении ‒‒ «книга о прошедшем»[[3]](#footnote-3).

**(С. 158)** Этим «прошедшим», однако, оказались все русское общество эпохи наполеоновских войн и ее кульминационная фаза ‒‒ вторжение французов в Россию летом 1812 г., положившее начало Отечественной войне русского народа против иноземных интервентов, которая в конечном итоге привела к уничтожению наполеоновской армии и падению наполеоновского режима в Европе. Задачи столь масштабного охвата какого бы то ни было «прошедшего» не ставил перед собой еще ни один исторический романист в мире.

Толстовский *не-роман* с самого начала базировался на блестяще разработанных писателем до того новых, невиданных в литературе принципах психологического анализа в изображении человека, который, по Толстому, совсем неадекватно сознает и оценивает свои желания, мысли и поступки. Его мысли не столько *выражают* его действительные желания, сколько *вуалируют* их. Произносимое и вслух в большей мере *скрывает* сознательно мыслимое, чем *высказывает* его. Наконец, его поступки, зачастую спонтанные, несравненно точнее отвечают *интимно-личному* в человеке, его действительным чувствам и желаниям, нежели тем *словам*, которыми до или после сделанного человек *мотивирует* их или *оправдывает*. Все это вместе взятое уже и раньше производило эффект авторского *всеведения*, который именно у Толстого впервые заявил о себе столь открыто и безоговорочно.

Для читателей первых томов толстовского романа (а они выходили в свет по мере написания, и первоначально их было *шесть*, а не *четыре*, как установилось позже) применение указанного принципа привычнее всего проявлялось в описаниях армейских, воен­ных и батальных картин и сцен, поскольку ранний Толстой именно на аналогичном материале его блестяще опробовал (я имею в виду не только «Севастопольские рассказы», хотя в первую очередь, конечно, их).

Нельзя сказать того же о гораздо более многочисленных «мирных» сценах этих же начальных томов. Здесь перед читателем фигурировали уже не единичные персонажи «Альберта» или «Утра помещика», но сразу же возникали целые скопления персонажей самых разных возрастов, социальных положений, жизненных устремлений и нравственных достоинств, и этот необычайно широкий **(С. 159)** и многообразный калейдоскоп человеческих характеров и судеб постоянно увеличивался количественно и менялся либо обогащался качественно. И все эти лица ‒‒ раньше, чем повествование подойдет к изображению собственно «людей на войне», ‒‒ будут, *совершенно независимо от частоты их появления в повествовании, их главной или эпизодической роли в развитии той или иной сюжетной линии*, изображаться автором с одинаково полной многоаспектностью психологического анализа их мыслей, движений и поступков.

Именно это поражало читателей больше и прежде всего. И это же придавало произведению тот «нероманный» характер, который обескураживал даже самого писателя. Темой произведения становилось само общество в безначальной и бесконечной *бытийной масштабности* своей «роевой» жизни. Все персонажи «Войны и мира» ‒‒ романные и исторически реальные, «великие» и «малые», центральные и эпизодические ‒‒ стали у Толстого *рядовыми* (в самом нивелирующем смысле этого слова) фигурантами объемного и всеобъемлющего исторического процесса.

Спрашивается: мог ли автор столь необычного по жанру и столь уникального по своему конкретно-историческому материалу произведения обойтись без каких бы то ни было «рассуждений», связанных с проблематикой этого материала? Думается, не мог, даже если первоначально и не предполагал этого[[4]](#footnote-4).

Для всех очевиден тот факт, что толстовские «рассуждения» (термин самого писателя) занимают значительный объем текста его произведения, что они довольно обширны и вклиниваются **(С. 160)** в «описания» (тоже толстовский термин применительно к повествовательному составу романа) без какой-либо продуманной системы. Но далеко не все помнят (или обратили внимание на то), что и по частоте своего появления в тексте, и по степени своей развернутости они отнюдь не равномерно распределены в романе. Из черновых набросков предисловия к неоконченному роману «1805-й год» (1865‒1866) ‒‒ первоначальному варианту замысла «Войны и мира» ‒‒ ясно, что в начале работы над произведением Толстой совсем не думал еще ни о каких «рассуждениях» на исторические темы[[5]](#footnote-5). А вот когда работа над «Войной и миром» начала подходить к своему завершению, он стал определенно настаивать: «Описывая <...> прошедшее, я нашел, что не только оно неизвестно, но что оно известно и описано совершенно навыворот тому, что было. И *невольно* я почувствовал необходимость доказывать то, что я говорил, и высказывать взгляды, на основании которых я писал»[[6]](#footnote-6).

Собственно, в постановке вопроса о необходимости тщательного исследования того, *когда и зачем*, а также *как часто и ради чего* возникают в тексте романа авторские «рассуждения» и видит **(С. 161)** автор статьи свою задачу. Разумеется, задача обширна и не может быть решена в рамках одной статьи. Она требует последовательного и полного охвата материала. Поэтому цель данной статьи ‒‒ продемонстрировать проблему толстовских «рассуждений» в составе романа «Война и мир» как реально существующую научную проблему, еще только ожидающую своего решения.

Начнем с того, что первое, очень скромное по объему, авторское «рассуждение», которое можно, и то лишь с известной долей условности, назвать «философско-историческим», появляется только в конце первого тома (будем иметь в виду четырехтомную структуру произведения). Оно возникает в начале девятой главы третьей, заключительной, части тома ‒‒ главы, которой открывается описание Аустерлицкого сражения, завершающего собой том.

**(С. 162)** Оно еще имеет форму *развернутого сравнения*, то есть всего лишь тропа или фигуры речи: здесь характер вступления многотысячных армий в сражение сравнивается с началом работы механизма часов. Однако важен смысл этого сравнения. Во-первых, оно дает автору повод ввести понятие «*механизма* военного дела» и подчеркнуть именно *механистичность* его дискретной совокупности. А во-вторых, позволяет ‒‒ еще *до* описания сражения ‒‒ указать на его *особое* историческое значение:

«Как *в часах результат сложного движения* бесчисленных различных *колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки*, указывающей время, *так и результатом всех сложных человеческих движений этих 160-ти тысяч русских и французов* ‒‒ всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей ‒‒ *был только проигрыш Аустерлицкого сражения*, так называемого сражения трех императоров, ***то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества***»[[7]](#footnote-7).

Во втором томе не содержится *ни одного* авторского «рассуждения» философско-исторического плана, и понятно почему. О военных действиях (все ‒‒ *вне* России) или дипломатических перипетиях межгосударственных отношений здесь коротко сообщается как о чем-то вполне заурядном, а главное повествование сплошь посвящено личным судьбам важных, маловажных и вовсе не важных персонажей, их страстям, падениям, поискам смысла жизни, матримониальным планам и т. п.

Зато третий том уже непосредственно *открывается* главой, которая является не чем иным, как авторским рассуждением по одному из важнейших, с точки зрения Толстого, *мировоззренческих* вопросов, касающихся как раз *механизма* исторического процесса.

Начинается глава с указания на факт «с конца 1811-го года <...> усиленного вооружения и сосредоточения сил Западной Европы у границ России и с констатации того, что 12 июня, с переходом этими силами русской границы *«началась* ***война****, то есть совершилось* ***противное человеческому разуму и всей человеческой природе* (С. 162) *событие»***[[8]](#footnote-8). И сразу же вслед за этим Толстой поднимает вопрос о *причинах* такого рода событий. Следует иронический каскад «причин», указываемых *историками*, и снисходительное извинение думать так для «современников дела». «...Но для нас, ‒‒ продолжает автор, ‒‒ созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными»[[9]](#footnote-9). Во-первых, потому, что никакими причинами не то что *не оправдываются*, но и *не объясняются* «убийства и насилия» войны. Во-вторых, потому, что «нам, потомкам», ‒ *не* историкам, «увлеченным процессом изыскания», а просто людям «с незатемненным здравым смыслом» ‒‒ причины подобного рода вообще «представляются *в неисчислимом количестве*»[[10]](#footnote-10), и притом «*одинаково справедливыми* сами по себе *и одинаково ложными*»[[11]](#footnote-11) ‒‒ как «по своей ничтожности в сравнении с громадностью события», так и «по *недействительности* своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие»[[12]](#footnote-12).

Впервые в *этом* рассуждении возникает понятие «***фатализма*** *в истории*»[[13]](#footnote-13) и утверждается его *неизбежность*, а главное ‒‒ ***истинность***. Но пока что мысль писателя ограничивается идеей *двойственной* природы человеческого существования и вытекающей отсюда *односторонности* индивидуального человеческого сознания: «*Человек* ***сознательно*** *живет для себя*, но *служит* ***бессознательным орудием*** *для достижения исторических общечеловеческих целей*»[[14]](#footnote-14). Острие мысли направлено в сторону *«так называемых великих людей»*: в исторических событиях они «суть ***ярлыки****, дающие наименование* событию», но *«так же, как ярлыки,* ***менее всего имеют связи с самим событием****»*[[15]](#footnote-15). «Каждое действие их, ‒‒ заключает автор, ‒‒ *в историческом смысле непроизвольно*, а находится **(С. 164)** в связи со всем ходом истории и ***определено предвечно***»[[16]](#footnote-16). Последнее слово в этом утверждении заимствовано Толстым из арсенала важнейших и глубочайших истин православного богословия и наиточнейшим образом объясняет смысл его исторического «фатализма».

Если начальное «рассуждение» вообще открывало собой третий том, посвященный событиям Отечественной войны 1812 г., а следовательно, находилось в *начале* его первой части, то следующее «рассуждение» точно так же *открывает* собой его вторую часть. Оно ничего не добавляет к философско-исторической идее предыдущего «рассуждения», но самым подробным образом *конкретизирует* ее, показывая на многочисленных фактах (добавим ‒‒ до деталей давно установленных и изученных *историками* и у них заимствуемых Толстым), насколько *реально совершившееся* движение 800-тысячной наполеоновской армии вглубь России не отвечало ‒‒ причем на любом своем этапе ‒‒ *сознательным* намерениям обоих противников, начиная с желаний и планов полководцев-императоров и кончая настроениями солдат. Все совершалось, показывает Толстой, *вопреки* всеобщим желаниям и начальническим приказам. Исходит Толстой из *общепризнанного* результата наполеоновского вторжения: *движение его армии вглубь России одно только и погубило ее*, ‒‒ но как раз этого *никто* ***не хотел, не предвидел*** *и* ***не планировал***!.. Здесь Толстой вновь полемизирует с историками (и французскими, и русскими), но полемизирует особым образом: он игнорирует их якобы «научную» аксиоматику, оперируя только фактами, однако не выборочно, а в их нелинейной полноте, и тем самым обнажает *априорность* «научной» интерпретации событий 1812 г.

Самым убийственным для исторической науки логическим ходом Толстого стал следующий. Историки post factum отыскивают и, что замечательно, *всегда могут отыскать* большее или меньшее число документов и свидетельств, в которых либо предлагалось, либо предвиделось то, что впоследствии и произойдет. «Но, ‒‒ заявляет писатель, ‒‒ все эти намеки на предвидение того, что случилось, <...> выставляются <...> только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были бы забыты, как теперь (далеко после событий 1812 г. ‒‒ *Ю. Р.*) тысячи и милли- **(С. 165)** оны противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых»[[17]](#footnote-17).

Новым «рассуждением», уже *вклинивающимся* в повествование, является XIX (*срединная* по своему местоположению) глава этой же части тома. Оно *предваряет* собой главы, в которых описываются начало и ход *исторически кульминационного* Бородинского сражения. И опять: «рассуждение» сугубо полемично по отношению к тогдашним военно-историческим интерпретациям события. Толстой буквально обвиняет историков (и французских, и русских) в *умышленном* искажении всего происходившего накануне сражения и даже рисует схему того, каким предполагалось расположение войск перед сражением и как они реально столкнулись друг с другом в ходе сражения[[18]](#footnote-18). По смыслу объяснения известных фактов Толстой проделывает здесь ту же аналитическую работу, что и в предыдущем «рассуждении», но в выводе его содержится одно (словно бы попутное) замечание в скобках (!), которое не просто означает, что *правда* соображения фактов (пусть и неприятных или прямо конфузных с точки зрения «патриотизма») всегда патриотичнее лживых уловок в обращении с этими фактами:

«Итак, ‒‒ пишет Толстой, ‒‒ Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников *и вследствие того* ***умаляя славу русского войска и народа****)* описывают его»[[19]](#footnote-19). Оно «принято было русскими <1> на открытой, почти не укрепленной местности <2> с вдвое слабейшими силами против французов, т. е. в таких условиях, в которых <3> не только немыслимо драться 10 часов <4> и сделать сражение нерешительным, но <5> немыслимо было удержать в продолжение 3-х часов армию от совершенного разгрома и бегства»[[20]](#footnote-20).

Вот такой *все усиливающейся градацией*, которая лишь подчеркивает остающееся в подтексте *сдержанное достоинство национальной гордости русского человека*, Толстой заканчивает это *четвертое* по счету «рассуждение», продолжающее бичевать конкретно ‒‒ **(С. 166)** историков Отечественной войны 12-го года, в целом ‒‒ *жалкую методологическую слепоту исторической «науки» как таковой*!..

И лишь после того, как Толстой во всеоружии своего художнического гения воздвиг небывалую громаду картинного описания Бородинской битвы (которое заняло у него *девятнадцать* глав ‒‒ всю вторую половину срединной части тома), он вдруг, словно бы возносясь над дымно-кровавой неразберихой угасающего сражения и духовно прозревая его провиденциальный смысл, последнюю, XXXIX главу этой части посвящает его ***всемирно-историческим*** итогам.

«Пламя сражения», констатирует он, стало «медленно догорать»[[21]](#footnote-21). Потуги историков объяснить этот странный с рациональной точки зрения факт Толстой перечисляет в своей уже знакомой читателю иронической манере, а затем дает свое ‒‒ немыслимое и невозможное в устах «академических» историков ‒‒ образно-емкое, но потому безусловно убедительное и неоспоримо истинное объяснение.

Не только Наполеон (пишет Толстой), потерявший при Бородине всего *лишь четвертую часть* своих армий, «испытывал то *похожее на сновиденье* чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), *испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв* **половину** (выделено Толстым. ‒‒ *Ю. Р.*) *войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения*»[[22]](#footnote-22). И далее: «***Нравственная сила*** *французской, атакующей армии была истощена*». Победа под Бородиным, настаивает Толстой, была одержана *именно и только русскими*, потому что это была «победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии»[[23]](#footnote-23).

«Французское нашествие, *как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану*, чувствовало свою погибель <...> После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно **(С. 167)** должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. ***Прямым следствием*** *Бородинского сражения было* ***беспричинное бегство*** *Наполеона из Москвы, <...> погибель 500-тысячного нашествия и* ***погибель наполеоновской Франции****, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука* ***сильнейшего духом*** *противника»[[24]](#footnote-24)*.

Заметим: здесь ‒‒ *впервые в романе* ‒‒ возникают слова о *«силе* ***духа****»* (человека, войска, общества, народа).

И *именно после этого* ‒‒ начиная с первых двух глав заключительной части третьего тома ‒‒ все дальнейшие толстовские «рассуждения» обретают ***философско-исторический*** характер. Но происходит это уже *как бы само собой*.

Объемное «рассуждение», открывающее собой третью часть, сначала вводит аналогию между математическим анализом (разделом высшей математики) и историческим анализом, который должен, по убеждению Толстого, докапываться до «бесконечно малой единицы наблюдения ‒‒ ***дифференциала*** *истории*», т. е. «*однородных* влечений людей», и лишь «достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории»[[25]](#footnote-25). Эта аналогия утверждается Толстым уже как непреложный *принцип* исторического исследования, как *метод*, до сих пор исторической науке неведомый и потому не опробованный. Пока же это остается фактом, никто не может знать, какие *результаты* даст применение этого метода исторической наукой[[26]](#footnote-26).

Во второй главе третьей части третьего тома отмеченный в первой главе принцип знакомым читателю образом (приемами серьезно-иронического пересказа и алогичного последования) иллюстрируется набором указываемых историками, но ничего не объясняющих, по убеждению Толстого, «причин» того, как русские войска отступали от Бородина до Филей.

Дальнейшее отслеживание порядка появления «рассуждений» в ходе повествования, их объема, тематики, композиционной и смысловой роли в структуре целого невозможно в ограниченных рам- **(С. 168)** ках статьи (оно требует, как уже указывалось, специального исследования). Но главное и качественно новое в структуре дальнейшего повествования следует оговорить.

Это, во-первых, нарушение той «правильности», с какой авторские «рассуждения» до сих пор возникали в тексте (например, первая, срединная и две последние главы второй части третьего тома) ‒‒ а и было-то их, кроме этих, рассмотренных нами трех, всего *четыре*!.. Теперь «рассуждение», открывающее третью часть третьего тома, захватывает целых *две* первые главы, зато плавно переходит в повествование, а сама часть (и вместе с ней *том*) не заключаются никаким «рассуждением», так же как четвертый том им не открывается.

Во-вторых, в ходе повествования, не прерывая его, начинают время от времени возникать, так сказать, *микро*-«рассуждения», иногда прямо авторские, но зачастую принадлежащие кое-кому из главных персонажей. Таково, например, утверждение, что сознание того, что Москва *будет* оставлена, *не может быть не* оставлена, было повсеместно распространено «в русском московском обществе 12-го года»[[27]](#footnote-27); или маленькое рассуждение о причинах московского пожара[[28]](#footnote-28); или, в начале четвертой главы первой части четвертого тома, о том, что массовых «героических» чувств в тогдашнем русском обществе не было (*и быть не могло, и нигде никогда не бывает*, убежден Толстой), ‒‒ с замечательной, *принципиального* характера сентенцией: «В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью»[[29]](#footnote-29); или всего лишь один только первый абзац первой главы второй части четвертого тома[[30]](#footnote-30).

В-третьих, многие важнейшие для философско-исторической концепции Толстого положения или их отдельные нюансы теперь становятся органической частью психологического анализа конкретного персонажа. Таков, например, весь эпизод общения Пьера **(С. 169)** с Платоном Каратаевым, как следствие ‒‒ мировоззренческое прозрение Пьера, а затем, после гибели Платона, его коренное личностное преображение[[31]](#footnote-31).

Наконец, неизбежно обращающий на себя внимание своим невиданным ранее в литературе объемом эпилог с его делением на две части. Уже его первая часть открывается «рассуждением», занимающим целые *четыре* первые главы, в которых ретроспективно охватывается вся так называемая «наполеоновская эпоха» в ее разномасштабных проблемных аспектах ‒‒ личностном, дипломатическом, геополитическом, историографическом. И только за этими главами следует рассказ о семьях четырех сведенных друг с другом за двенадцать лет до того главных героях собственно *романа* ‒‒ Наташе и Пьере, княжне (ныне графине) Марье и Николае Ростове, а кроме того, о ставшем уже подростком Николеньке Болконском и, через его сон, о его погибшем отце князе Андрее, которого он не помнит живым даже во сне, но которого в душе считает арбитром в нравственно-политическом споре Пьера и Николая. Этим, казалось бы, и должен завершиться эпилог, своей проблемной открытостью в будущее совершенно вписывающийся в художественную структуру толстовского произведения. Но Толстой все же иначе завершает его. Вторая часть эпилога вся является развернутым уже не «рассуждением», а самым настоящим философско-историческим трактатом, лишь отчасти развивающим проблематику некоторых предыдущих «рассуждений», а в своем целом ‒‒ заново излагающим и аргументирующим основные положения взглядов писателя на целесообразность исторического процесса и его движущие силы.

1. См.: *Григорьев Ап. А.* Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства // *Григорьев Аполлон*. Литературная критика. М., 1967. С. 138. [↑](#footnote-ref-1)
2. Уже по окончании работы над романом, но еще до появления в печати последних V и VI томов Толстой посчитал необходимым в отдельной статье, где все пронумеровано по пунктам, разъяснить читателю некоторые важные аспекты собственного понимания своего произведения. И ее первый пункт он посвящает именно проблеме жанровой самобытности романа: «Что такое «Война и мир»? Это *не роман*, <...> *еще менее историческая хроника.* ***«Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось.*** Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого Дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» (См.: *Толстой Л. Н.* Несколько слов по поводу книги «Война и мир» // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 7. М., 1981. С. 356‒357). ‒‒ Здесь и далее в тексте статьи или примечаний *все выделения в цитатах* (кроме специально оговариваемых) принадлежат автору статьи. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Толстой Л. Н.* [Черновые наброски к заключительной части Эпилога] // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбилейное изд.). Т. 15. М., 1955. С. 241. [↑](#footnote-ref-3)
4. В литературоведении советского времени было широко распространено убеждение не только в «логических противоречиях», которые сплошь и рядом встречаются в самих философско-исторических «рассуждениях» Толстого, но ‒‒ что гораздо важнее ‒‒ в том, что самый факт включения писателем в художественную ткань романа публицистических отступлений такого рода является его просчетом, нарушает впечатление единства и целостности художественного произведения как такового. Эта точка зрения была решительно и со всей силой доказательности детально рассмотрена и мотивированно опровергнута Е. Н. Купреяновой ‒‒ крупнейшим знатоком и исследователем творчества Л. Н. Толстого (См.: Купреянова Е. Н. О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Рус. литература. 1985. № 1. С. 161‒172). Добавим, что в указанной статье Е. Н. Купреяновой полемически рассмотрены практически все работы, в которых так или иначе трактуется вопрос о толстовских «рассуждениях» в «Войне и мире». Традиция же рассмотрения всего творческого пути писателя, не говоря уже о вузовских учебниках, но даже в солидных академических коллективных монографиях по истории русской литературы ограничивалась лишь аспектами биографического плана, творческой истории и проблемно-образного анализа важнейших (этапных) его произведений (См., например: [*Бурсов Б. И., Опульская Л. Д.* Л. Толстой [разделы 6—10] // История русской литературы: Литература 70‒80-х годов XIX века. Кн. 2. М.; Л., 1956. С. 489—519; *Балаган Г. Я.* Л. Н. Толстой // История русской литературы: В 4 т. Т. 3. Л., 1982. С. 816; и работу самой Е. Н. Купреяновой: *Купреянова Е. Н.* «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого // История русского романа: В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1964. С. 270‒349 (раздел «Русский роман 1860‒1870-х годов»: Глава VII), которая, несмотря на то что хронологически отстоит от написанного Б. И. Бурсовым и Л. Д. Опульской на восемь лет, а написанному Г. Я. Галаган предшествует на восемнадцать (!) лет, выгодно отличается от того и другого глубоким концептуально-содержательным анализом не только самих философско-исторических взглядов Толстого, развернутых им на страницах романа, но и их органической слитностью с образно-характерологическим составом произведения). [↑](#footnote-ref-4)
5. *Толстой Л. Н.* [Черновые варианты Предисловия к роману «Тысяча восемьсот пятый год». Не позднее сентября 1864] // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбилейное изд.). Т. 13. М., 1949. С. 56. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Толстой Л. Н.* [Черновые наброски к заключительной части Эпилога] // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбилейное изд.). Т. 15. М., 1955. С. 241. ‒‒ Тут обращает на себя внимание слово «невольно», причем из общего контекста, окружающего приведенное высказывание, понятно, что речь идет, конечно, не о «мирных» сценах, доминирующих в первых томах тогда еще 6-томного романа, а о сценах «военных», далеко не сразу появляющихся в произведении и тем более не имеющих того значения, которое получат события 1812 г. И все же непосредственно вслед за процитированным высказыванием Толстой категорически заявляет: «<...> если бы не было этих рассуждений, не было бы и описаний» (Там же). ‒‒ В свое время я по этому поводу писал: «Несогласованность второго утверждения с первым кажущееся: в одном случае Толстой говорит о реальной последовательности своей работы над текстом романа, об относительно более позднем осознании им необходимости доказывать свои взгляды; в другом ‒‒ о принципиальной внутренней соотнесенности художественного и публицистического планов произведения в его целостной структуре, о невозможности изолированно воспринимать их и тем более противопоставлять друг другу» (См.: *Руденко Ю. К.* Чернышевский-романист и литературные традиции. Л., 1989 (Глава V: Чернышевский ‒‒ Достоевский ‒‒ Толстой. «Что делать?» и некоторые аспекты эволюции русского романа 60-х годов). С. 233). Е. Н. Купреянова еще более конкретизированно объясняет причины, побудившие Толстого не только художественно описывать давнюю эпоху, но и публицистически разъяснять и мотивировать свою позицию: «Толстой был художником не „от сих до сих“, а органически, по самому своему насквозь художественному мировосприятию. И потому всегда полагал, что искусство, и особенно искусство слова, не доказывает, а непосредственно являет в созданных художником образах столь же непосредственно открывшуюся ему видимую, ощущаемую им истину. В силу ее психологической несомненности и заразительности она не требует никаких логических доказательств. <...> Однако далеко не единодушные, а подчас и резко отрицательные критические отзывы 60-х годов на первые тома первого же и тогда шеститомного издания «Войны и мира» убедили его в том, что явленная в них художественная правда дошла далеко не до всех, что и побудило его дополнить художественные описания «рассуждениями» (См*.: Купреянова Е. Н.* О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Рус. литература. 1985. № 1. С. 163). [↑](#footnote-ref-6)
7. *Толстой Л. Н.* Война и мир. Том первый // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 4. М., 1979. С. 325. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Толстой Л. Н.* Война и мир. Том третий // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 6. М., 1980. С. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же. С. 8. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же. С. 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Там же. С. 8‒9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Там же. С. 9. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же. С. 10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Там же. С. 10. [↑](#footnote-ref-14)
15. Там же. С. 11. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же. С. 12. [↑](#footnote-ref-16)
17. Толстой Л  Н. Война и мир. Том третий... С. 106‒107. [↑](#footnote-ref-17)
18. Там же. С. 195. [↑](#footnote-ref-18)
19. Там же. С. 196. [↑](#footnote-ref-19)
20. Там же. С. 196‒197. [↑](#footnote-ref-20)
21. Там же. С. 273. [↑](#footnote-ref-21)
22. Там же. С. 273‒274. [↑](#footnote-ref-22)
23. Там же. С. 274. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Толстой Л. Н.* Война и мир. Том третий... С. 274. [↑](#footnote-ref-24)
25. Там же. С. 276‒277. [↑](#footnote-ref-25)
26. Там же. С. 278. [↑](#footnote-ref-26)
27. Там же. С. 289. [↑](#footnote-ref-27)
28. Там же. С. 369‒370. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Толстой Л. Н.* Война и мир. Том четвертый // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 7. М., 1981. С. 18‒19. [↑](#footnote-ref-29)
30. Там же. С. 73‒74. [↑](#footnote-ref-30)
31. Вот как этот материал распределен в тексте романа: глава XIII первой части четвертого тома (См.: *Толстой Л. Н.* Война и мир. Том четвертый // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 7. М., 1981. С. 54, 56); часть XII главы и концовка XIV главы второй части (Там же. С. 105‒107, 114‒115); вторая половина XII, полностью XIII, XIV и XV главы третьей части четвертого тома (Там же. С. 163‒170) и, наконец, XII глава четвертой части тома, подводящая итог всей этой теме (Там же. С. 215‒218). [↑](#footnote-ref-31)